

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ



ВСЕВОЛОРД ИВАНОВ

ИЗБРАННОЕ

200

ОГИЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
художественной литературы

1948

Dethooyay
Kouqautayy /
of foret ^{cavat}
forest 2169
Bactooy

29 / + " - 18.

Из переписки Всеволода Иванова с И. П. Малютиным и А. Фадеевым

23 февраля исполняется 70 лет со дня рождения Всеволода Иванова, выдающегося советского художника слова, тесно связанного с нашим краем. Много лет Всеволод Вячеславович дружил с челябинским писателем — выходцем из народа И. П. Малютиным. Впервые они встретились в Кургане в дореволюционное время. С тех пор и до конца жизни они поддерживали самые дружеские отношения, часто встречались и переписывались друг с другом.

Публикуемые письма Всеволода Иванова показывают не только сердечность в их взаимоотношениях, но и раскрывают историю появления книги воспоминаний И. Малютина «Незабываемые встречи», а также указывают, какое участие принял в ее издании А. Фадеев.

Последнее письмо Всеволода Иванова без даты, но если судить по почтовому штемпелю на конверте, оно получено адресатом в Челябинске 10 ноября 1957 года.

И. П. МАЛЮТИНУ.

Дорогой Иван Петрович!

Извини, пожалуйста, что я так неаккуратно отвечаю; либо пишешь — усташь, либо не пишешь — усташь, так до нисьма и не добреешься. Сегодня уж подводил итоги необходимых ответов — вот и тебе пишу. А итоги потому, что завтра с Там. Вл. уезжаю за границу, вернувшись не раньше как месяца через два или три.

Ребятишки здоровы. Все идет по-прежнему. Насчет жратвы и в Москве плохо. Молоко, наприм. 2,20 кружка. И все остальное в этом же роде. Книг у меня прибавляется, но читать некогда, т. к. неустанно заседаю.

Есть у меня к тебе просьба: если тебе не жалко, то подари мне экземпляр «Сорры», у меня нету, а надо иметь. Я тебе отдаю любыми книжками. Только если будешь посыпать, то пошли заказным.

Когда вернусь, — приезжай в гости. Я расскажу как живет Европа, т. к. увижу Германию, Францию, Италию.

Привет. Вс. Иванов.

30/XI-32 г.

А. А. ФАДЕЕВУ.

Дорогой Саша!

Ко мне зашел старинный

мой приятель Ив. П. Малютин, известный тебе по Ярославлю и Челябинску. Он написал несколько печатных листов воспоминаний, которые по моему мнению, — конечно, после некоторой редакции, — вполне могут быть напечатаны.

Надо ему помочь в этом, — особенно нам, старым его знакомцам, обязаны, как напр. я ему многим, в частности, в какой-то степени перенявшим от него любовь к книге: вернее сказать, он подтвердил во мне уже существовавшую любовь к книге, показал что могут существовать люди, для которых любовь к книге была в жизни важнейшим.

М. б. ты потолкуюшь с ним и порекомендуешь «Сов. писатель» издание книги? Он очень нуждается. Ив. Петрович сейчас уезжает к сыну под Москву, но он оставляет свой адрес и мне и тебе. Если ты можешь его принять, надо известить его за день, за два, — он приедет к тебе. Ну, разумеется, жить долго у сына он не может. Может — быть проживет неделю, и было бы хорошо, если бы ты принял его в течение этой недели.

Прости, что беспокою тебя, но ведь занятно, что че-

ловек в 80 лет стал писать прозу, (он баловался прежде стихами) и написал в 80 лет первую книгу? Неужели это дано, и будет ли нам дано писать в эти годы, еще неизвестно.

Целую тебя и желаю здоровья!

Всеволод.

30/VI-55.

И. П. МАЛЮТИНУ.

Дорогой Иван Петрович!

Я прочел книжку «Незабываемые встречи» с большим удовольствием. Передо мною выпукло встало прошлое, и я отчетливо вспомнил тех людей, о которых ты пишешь — я встречал и Подъячева, и Дрожжина, и Потанина, не говоря уже о Горьком. О каждом из них ты сумел сказать хорошие, добрые слова, сказать красиво и с нежностью. Боль-

шое тебе, спасибо за эту книжку! Думаю, что она будет иметь успех и среди читателей, и среди писателей. А успех этот поможет тебе в дальнейших твоих работах.

Я не понимаю, например, почему не издают книги твоих стихов? Мне кажется, что за много лет твоих трудов можно было бы собрать интересную книжку и напечатать ее вместе с биографией автора.

Я тоже предался воспоминаниям — написал небольшую книжку, листов на шесть, «История моих книг». Первая часть этой запутанной «Истории» напечатана в альманахе «Наш современник» № 3 за 1957 год. Я думаю, ты найдешь в Челябинске номер этого альманаха и, может быть, прочтешь его — я описываю там жизнь в Омске в 1918—1919 годах.

Семейство мое здорово и кланяется тебе.

Вс. Иванов.

Публикация и комментарии к письмам —
А. ШМАКОВА.



На снимке: слева — Иван Петрович Малютин, справа — Всеволод Иванов. Снимок 1925 г. Публикуется впервые.

УРАЛЬСКА

“Уральская Нива”
изд. Тюменское. Отд. от ОГУРС — Тюмень, 1965

1

1 ГОРЬКИЙ 21/ХХ

Они Горький
Серапионовы
Нов. 1965 г.
В. КАВЕРИН

из дневника

О Всеволоде Иванове

1

книге «Горький среди нас» Федин писал о «Серапионовых братьях», что «восемь человек олицетворяют собою санитара, наборщика, офицера, сапожника, врача, факира, конторщика, солдата, актера, кавалериста.» Самые необыкновенные из этих профессий принадлежали Иванову — все-таки никто, кроме него, не протыкал себя булавками и не глотал огонь перед изумленной аудиторией, — впоследствии он рассказывал мне, что это не так уж и сложно.

Но сразу вспыхнувший интерес к нему вовсе не был связан с необычностью его биографии. Напротив, каждый его рассказ — а он приходил по меньшей мере раз в месяц на «серапионовские чтения» с новым рассказом — поражал своей «обыкновенностью», которая потому и была его силой, что представляла собой первую живую лапись того, что происходило в стране. Тогда я не понимал, что это — мнимая обыкновенность. Девятнадцатилетний студент, увлеченный возможностью устроить в литературе свой мир, а в этом мире свой беспорядок, я не понимал тогда, что «бытовизм» Иванова бесконечно далек от сознательного самоограничения натуралиста, от раскрашенной фотографии в литературе.

Он как раз не боялся раскрашивать, но что это были за фантастические, смелые, рискованные цвета. В книге, которая недаром так и называется «Цветные ветра», эта смелость достигает размаха, который подлинным «бытовикам» показался бы кощунством.

Без сомнения, уже тогда Иванова больше всего интересовала та неожиданная, явившаяся как бы непроизвольно, фантастическая сторона революции и гражданской войны, которая никем еще тогда не ощущалась в литературе. Он раньше Бабеля написал эту фантастичность в революции, как нечто обыкновенное, ежедневное. Именно эта черта и сделала его «Партизанские рассказы» литературным фактом принципиального значения. На фоне необычайности того, что происходило в стране, история, рассказанная в «Дите», кажется естественной, хотя она глубоко противоречит представлениям устоявшегося дореволюционного мира. Вот почему, когда в 1922 году я спросил Иванова, кто, по его мнению, пишет сейчас лучше всех, он ответил: «Разумеется, Бабель».

Это показалось мне шуткой. Имя Бабеля я услышал впервые.

Иванов был человеком, редко удивлявшимся, почти не принимавшим участия в спорах, но умевшим слушать — за его тогдашней молчаливостью скрывалась огромная, вскоре сказавшаяся жажда познания.

Можно сказать, что в этом смысле все мы — в разной степени — продолжали. Он начинал — и начинал широко, с размахом.

В те дни, когда он писал на оборотной стороне географических карт, вырванных из Британской Энциклопедии — впоследствии он рассказал об этом в своей автобиографии, — ему казалось, что он может работать в любом жанре, не только в прозе. Однажды он явился к нам с поэмой и от души удивился, когда мы в один голос сказали, что она никуда не годится. Как известно, Л. Н. Толстой дважды начинал своих «Казаков» стихами. Эти стихи относятся к гениальной прозе «Казаков» примерно так же, как поэма Иванова, которую мы добродушно, но беспощадно раскритиковали, к его «Партизанским рассказам», которые были встречены нами с восторгом.

Я упомянул, что он писал на оборотной стороне географических карт, но, без сомнения, среди его ранних рукописей найдутся и толстые разлинованные листы бухгалтерских книг. Мы все писали тогда на конторской бумаге. На Большой Морской, очень близко от Дома искусств, где мы собирались, был банк, в котором никто не работал — саботаж — и куда мог зайти любой прохожий через распахнутые настежь огромные двери. Это было навсегда запомнившееся зрелище неизвестной, сложной, остановившейся на полном ходу, полной самоуважения жизни. Темный сумеречный свет стоял в высоких залах с тяжелыми люстрами, с высокими, пыльными лакированными барьерами. Отодвинутые кресла еще хранили, казалось движение, быстро, в испуге или негодовании, вскочивших людей. И везде на столах лежали толстые, как библия, гросбухи, бумага, бумага — прочная, красно и черно линованная, довоенная, дореволюционная, забытая, как забыт был тогда вкус белого хлеба.

Мы писали на ней долго, годами. Помнится, зайдя к Тихонову в 1928 году, я удивился, увидев, что его новые стихи написаны на этой бумаге. Не сомневаюсь, что Александр Грин был — и не однажды — в залах этого огромного опустевшего банка. Его лучший рассказ «Крысоллов» пронизан ощущением ужаса перед фантомом огромной заброшенной канцелярии, в которой господствуют крысы, ставящие себя бесконечно выше людей с их мнительностью и жалкой любовью. Грин, так же как Лунц, Шкловский, Слонимский, жил в Доме искусств.

Мне кажется, что Иванов как писатель сложился в те молодые годы. Уже тогда его героями были глубоко задумавшиеся люди, правдолюбцы, пытающиеся найти единственную в мире, выкованную в муках справедливость. Уже тогда они искали ее, путаясь в снежной пыли, как путается и не может уйти от заколдованного селезня Богдан в рассказе «Полынь».

В книге «Тайное тайных», составившейся из рассказов первой половины двадцатых годов, талант Иванова высказался с определенностью и силой. Дело было не только в том, что Иванов первый в советской литературе соединил опыт гражданской войны с глубоким знанием сибирской деревни. И это немало. Но главное все-таки заключалось в том, что этот опыт был окрашен любовью к необычайному, глубоко свойственной русскому характеру и русской литературе. Быт интересовал Иванова не сам по себе, а как путь к тайному тайных, к глубоко запрятанной сущности человеческих отношений, загадочно и остро раскрывшихся в годы исторического перелома. Иногда это — широкий путь, по которому, сидя в автомобиле с женой, неподвижно, как перед фотоаппаратом истории, ведет своих партизан Вершинин. Иногда — извилистая, теряющаяся в пес-

ках Тууб-коя, троинка Омехина, выбирающего между совестью, долгом и острой жаждой любви.

В новой прозе, которую пытался уже в те годы построить Иванов, намерения героев расходятся с их поступками, а цель — не только не оправдывает средства, а кажется решением другой, никем не заданной цели. Впоследствии в романе «У» он развил и упрочил это направление. Нарушение традиционных представлений возникло в его творчестве как отражение тех неожиданностей, которые пришли с революцией. Жизнь предстала перед ним как галлерея неограниченных возможностей — о них он и стал писать, вдохновленный Горьким, который понимал и поддерживал его дарование.

Вот откуда взялся его интерес к русской фантастике, к Владимиру Одоевскому, к Вельтману, произведения которых он собирал годами. Он искал и находил любимую традицию в прошлом русской литературы.

На месте будущего историка я попытался бы проследить развитие этой традиции, начиная с загадки гениального «Носа», через трагическую ironию драматургии Сухово-Кобылина и сказок Салтыкова-Щедрина — к Михаилу Булгакову, показавшему в «Диаволиаде» и «Роковых яйцах» образцы гротеска, твердо стоящего на бытовой основе. Тогда нетрудно было бы доказать, что искусство Чаплина, парадоксально смешавшего бесконечно далекие жанры, во многом предсказано русской литературой.

3

Частые встречи с Ивановым оборвались, когда в середине двадцатых годов он переехал в Москву, но дружеские отношения остались и не на год или два, а на всю жизнь. Чистота, озарявшая наши молодые споры, была порукой этих отношений. Юность шлаза нами по пятам, напоминая о том, что надо беречь достоинство писателя, как это ни было подчас тяжело. Наши отношения, лишенные малейшей предвзятости, всегда были проникнуты интересом и вниманием друг к другу. Мучительный и сложный процесс деформации, равнодушия, одеревенения, тот самый, о котором Маяковский писал:

Наступает самая страшная из амортизаций —
Амортизация сердца и души,—

не коснулся Иванова, может быть, потому, что главной чертой его характера была прямота, сливающаяся с глубоким интересом к людям.

Я не помню, чтобы какие бы то ни было обстоятельства заставили его назвать черное белым. Но он вовсе не был холoden, равнодушен. Напротив: однажды я был свидетелем его смелого выступления, когда в короткой и сильной речи он горько упрекнул в равнодушии тех, кто из осторожности или трусости стремился обойти события, взволновавшие всю страну.

Что сказать о его трудной писательской судьбе? В недавно опубликованном рассказе «Сизиф, сын Эола» солдату Полиандру не очень повезло в жизни, потому что он служил царю Кассандру, «соединившему в себе рядом с беспощадной вспыльчивостью еще более беспощадное честолюбие». Он хотел, чтобы Кассандра думал о нем хорошо, но «Кассандра не верил солдату, всем солдатам — он боялся его щита, его широкой красной шеи, его огромного голоса, к раскатам которого любили прислушиваться другие». И вот нищий, израненный, но еще полный надежд солдат отправляется на родину. В горах он встречает Сизифа, который никогда правил Коринфом и который — как в знаменитом мифе — должен вечно вкатывать в гору обломок скалы.

4

В рассказе Иванова древнегреческий миф приобретает странные, смутные, но знакомые очертания: За фигурой могучего и прямодушного солдата, которого боятся именно потому, что он прямодушен, чудятся нeliцемерные черты старого друга, идущего вперед «при любых обстоятельствах и при любых силах, ибо добродетель главная и всеединая цель человеческого существования». Но и сам Сизиф — этот друг, уже немолодой в старости, когда его лицо «наполнено тем избытком дней» который... указывает на необыкновенную силу и умелое, терпеливое расходование этой силы». Солдат встречается с Сизифом в последний день его бесмысленной, неустанной работы. Зевс простил его за послушание. Завтра он будет свободен. И начинается разговор между солдатом и сыном бога.

С мечом в руках солдат прошел Персию, Индию, Египет. Он видел сатиров с пурпуровыми рогами, убивал сирен и центавров. Сизиф не знает и не видел ничего, разучился говорить в одиночестве, события мира прошли мимо него в бесшумной дали. «Камень был тяжелый», — говорит он изумленному солдату, — и мне было трудно оглядываться». Наступает ночь, они ложатся спать, условившись вместе отправиться в Коринф, чтобы убить Кассандра и покорить Грецию. Но утром солдат видит, как Сизиф снова катит вверх в гору огромный базальтовый черный шар.

«...Ты ли это, о Сизиф! Разве мудрый Зевс не простил тебя и разве ты не дал мне согласия идти вместе со мною в Коринф и далее, куда поведет нас судьба?

И тогда ответил Сизиф, толкая камень плечом:

— Бедра, голени и ступни мои — стари. Молодое поколение греков идет слишком быстро. Я могу отстать и тогда захахну где-нибудь на востоке в жарком песке пустыни... А здесь? Здесь я привык. У меня имеются бобы, капканы для диких коз, вино изредка и к нему сыр. Что мне еще надо? Иди, путник, в свой Коринф, а я пойду в свою гору».

Писательская судьба Иванова была трудна не только потому, что на ней оказались тяжелые времена сталинского произвола. Некоторые его романы и повести, долго пролежавшие в письменном столе и лишь теперь появляющиеся в свет, — не легкое чтение. Не для того он отдал годы труда, чтобы читатель нашел в этих книгах развлечение или забаву. Они связаны с судьбой страны, с ее историей — трагически и неразрывно Путь солдата Полиандра, мечтавшего о грабежах и насилиях, о легкой жизни, о том, чтобы «спать на пуху под пение красавиц», не прельщал автора «Сизифа».

Вот почему, входя в его дом, я неизменно чувствовал дыхание всей страны с ее радостями и горестями, надеждами и трудами. За большим столом Всеволода Иванова собирались люди, значение которых неоспоримо в истории нашей культуры. Русские ходоки в далекие чужие земли вспоминались, когда он рассказывал о своих путешествиях, — а путешествовал он всю жизнь — верхом, пешком, на плотах, на лодках, по воде и по суше. С молодых лет он отправился в «Индию литературы», и путешествие, полное загадок, опасностей и открытий, продолжалось ни много ни мало — до самой смерти.

Ходоком, искателем нового, пытливо всматривающимся в неведомую жизнь, в непостижимые ее взлеты и беспощадные приговоры он был — и останется — в нашей литературе.

